шилась, мужчины перестали постоянно волокаться за женщинами. Это стало пустой тратой времени, а инвестиции — невыгодными. Таким образом, галантность и волокитство исчезли вовсе не по причине остывания чувств или импотенции. Сегодня происходит наркотизация секса, он кажется экономичным, ибо стимулирует общественно-полезную деятельность. Раньше считалось наоборот. Может быть, либерализация сексуальности произошла по причине изменения форм труда, он стал интеллектуальным, и физические нагрузки стали необходимыми. Прежде чем задаваться вопросом о смысле любви, мы должны создать ее знаки. Таким образом, теория любви сопоставима с соответствующими концепциями денег, власти, истины. Любовь не есть аномалия, а нормальная невероятность. Нормализация низковероятностных социальных структур составляет главную задачу коммуникативных медиумов, которая решается путем создания семиотической концептуальной системы, объясняющей возможность сообщения чувств. Как возможна нормализация, порядок в столь запутанной области, какую являет собой мир любовных страстей? Первым шагом наступления на спонтанность чувств является их описание. Этим занимаются не только поэты, но и воспитатели, моралисты, ученые. При этом кажется, что поэты придумывают идиомы, а педагоги, медики и юристы постулируют нормы. На самом деле как одни, так и другие, причем каждый по-своему, дифференцируют уникальное и общее. Управление вероятностью невероятного и связывает теорию общества, эволюционную теорию и теорию коммуникативных медиумов. Благодаря их связи описание исторического материала осуществляется на основе комплекса абстрактных социологических теорий. Исторические исследования любви должны быть подчинены этим теориям.

АНТРОПОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Наши предки посчитали бы заблуждением утверждение, что мой дух, мое сознание, мои мысли содержатся в моей голове и принадлежат только мне. Как свет и пища, мысли — это общее достояние. И это не то состояние, которое можно захватить, приватизировать и передать по наследству. Коллективные представления — используем это понятие старой психологии — возникают не просто как суммирование индивидуального опыта. Они продукты резонанса, возникающего между близкими людьми. Один мозг настроен на волну

другого, и поэтому для достижения консенсуса не требуется длинных переговоров и дискуссий.

Таким образом, дистанция между мною и миром, между «Я» и Другим преодолевается опытом совместного бытия людей, которые живут в общем пространстве и делят между собою кров, тепло, свет и пищу. Мы не только преобразуем, руководим, используем, внимательно изучаем вещи, а они сами входят в нас подобно пище. Мир гораздо ближе к нам, чем это представляет трансцендентальная философия. Но это ближайшее стало далеким потому, что мы отвернулись от него. Для его возвращения полезно обратиться к основательно забытым теологическим дискуссиям о природе истины. Истина — это единство речи и жизни. Например, пробным камнем того, что исповедующийся открывает истину, является боль признания, в ходе которой он очищается и отделяется от своего прошлого. Несомненно, исповедь предполагает иное толкование греческой алетей: человеческое слово понимается в диалоге, а божественное — благодаря откровению; общим для того и другого является милость, открывающая доступ к внутреннему миру. Трагический катарсис повторяется христианством, но другими средствами. Часто полагают, и не без оснований, что игра истины в исповеди является прототипом психотерапии.

Другим источником трансформации классической модели сознания является философия Хайдеггера. Категориальному освоению бытия он противопоставил «экзистенциальное». Для человеческого существования в модусе *Dasein* характерно бытие-в-мире, что означает, с одной стороны, открытость миру (животное вписано в окружающую среду, а человек — это просвет бытия). *Dasein* — это не субстанция-субъект, а участник, свидетель бытия. Ему присуща скорее пассивность, чем активность: он ждет знаков бытия и принимает их в себя, как кит принял Иону в свое чрево. Отсюда страх, боль, забота — это не активные действия, направленные на преобразование мира, а то, что проникает и захватывает нас целиком. Для обозначения этого Хайдеггер ввел искусственное слово *Insein*, которое еще не поддается адекватному переводу на другие языки. Что, собственно, значит это «бытие-в». На что оно намекает — на какую-то интимную близость человека и бытия или на замкнутость в своем собственном внутреннем мире? Бытие не где-то там далеко, оно ближе мне, чем я сам. Но Хайдеггер говорил, что самое далекое — это ближайшее. Отстранение от ближайшего, его трансцендирование — это не ошибка, а род того, что Маркс называл отчуждением. Поэтому речь идет о возвращении не рефлексии, а интимной близости, как у ребенка

с матерью. Медиумом бытия у позднего Хайдеггера выступает не познание (техно-наука и метафизика), а язык, понятый как дом, т. е. иммунная система. Язык возник как хвалебная песнь, в которой человек славил свой род, своих героев и тем самым самого себя. Вовсе не познание, а восхваление является главной функцией языка.

Если перевести это несколько высокопарное выражение на естественный язык, то можно сказать следующее. Условием восстановления близких взаимодействий, примером которых является единство ребенка и матери, общение лицом к лицу, совместное приятие пищи, пение и т. п., является деструкция субъектно-объектной установки, на основе которой построен язык, и создание такого языка, который способен описать отношения интимной близости. Философия жизни основана на теории близких и сильных взаимодействий, а не на трансцендентальной философии, в поле которой функционирует рефлексия, т. е. познание.

Человек изначально не является познающим субъектом. Но и в высоких культурах, когда возникает наука, целью ее является выживание людей. А основой жизни является то, что мы назвали близкими и сильными взаимодействиями. Разумеется, философ и ученый интересуется их аналитикой. Но понять, как люди ориентируются в звуках и образах, чем определяются их вкусовые предпочтения, невозможно на основе «компьютерной метафоры», которая представляет работу мозга по аналогии с вычислительной машиной.

Лицо

Что такое лицо, является оно продуктом церебрализации, эстетическим или культурным феноменом? Если рассматривать превращение морды животного в человеческое лицо, то очевидно, что вплоть до кроманьонцев эволюция определялась ростом массы мозга и уменьшением челюсти. Вероятно, лицо в какой-то момент человеческой истории становится эстетически значимым феноменом для полового отбора. Фасциализация становится важным моментом человеческой истории. Ж. Делез и Ф. Гваттари считали, что примитивные люди обладали красивыми или уродливыми фигурами, но не лицом. Они имели голову, а в лице не нуждались. Лицо не универсально: лицо Христа — это лицо типичного европейца, а не негра.

По мнению Слоттердайка, сказанное выше — недоразумение, вызванное тем, что авторы не различают формирование общечеловеческого лица рода сапиенс и характерологическое прорисовывание его поверхности в той или иной культуре. Формирование красивой

человеческой головы, о котором писали Делез и Гваттари, оценивалось разными этноэстетическими характеристиками, поэтому нет гарантии, что все критерии к красоте головы были универсальны. На самом деле в человеческой внешности собирается и специфически-культурное, и характерологическое, определяемое расой и темпераментом. Отсюда смешение родового лица с культурно, физиогномически и семантически оформленным лицом. Родовое лицо человека, несомненно, имеет универсальные характеристики, оно инвариантно. Во всех климатических поясах, всяком периоде истории, в любой культуре, обществе человек имеет лицо. Процесс формирования лица определен общими биоэстетическими характеристиками, и это достаточно четко обнаруживается при сравнении детеныша шимпанзе и ребенка. Этот первичный процесс занял не менее миллиона лет и завершился в типе кроманьонца. Сравнение его лица с мордами обезьян совершенно отчетливо показывает их различие. В этой связи можно спрашивать о моторе или мотиве, объясняющем столь разительное различие между мордой крупной обезьяны и человеческим лицом. Протракция, или движение образа лица в процессе генезиса лица человека, может быть объяснена с учетом потребностей рода и праисторических форм жизни. Решающую роль в этом играло межличностное общение. Роль теплоты в первичной орде является господствующей, достаточно вспомнить восхищение мужчин видом купающих детей женщин. Между младенцем и матерью восхищение лицом друг друга и взаимный обмен улыбками и взглядами является решающим. Первичная социосфера возникает как теплое межличностное отношение. Именно благодаря ему начинается переход от животного к человеку. Этот антропологический переход есть не что иное, как лицевая операция. Но она не имеет ничего общего с протезированием лица в нашем индивидуалистическом обществе. Современная лицевая хирургия превращает лицо опять в чистую доску и наносит на нее грим красоты и оригинальности. При этом устраняется как отпечаток времени, так и эволюционное наследие дружеского, теплого, человеческого лица.

На 95% путь формирования человеческого лица относится к доисторическому периоду. Во время этого общечеловеческого роста лицо еще не стало знаком различия своего и чужого, сигналом для различия своего и чужого. Это случилось в эпоху государств. Лицо не является критерием идентичности в ранние периоды человеческой истории. Только после неолита кроме комфортабельности лицо становится знаком идентификации. Поэтому некоторые историки культуры, например А. Леруа-Гуран, считают, что в древности не

встречалось изображений человеческих лиц, не только собственных, но и соплеменников. Это значит, что обмен изображениями лиц не требовался. Раннее межличностное восприятие не интересовалось характерологическими признаками, оно ориентировалось на свет, идущий от лица и говорящий о том, можно ему доверять или нет. Мать и ребенок как бы лучатся взглядами и улыбками. Человеческая эволюция определялась тем, насколько велика степень выражения дружелюбности, и эта способность выражать дружбу протрактировалась. Как гениталии были не индивидуальным, а всеобщим выражением принципа наслаждения, так и лицо — выражением дружелюбности.

Чудо лица имеет простую формулу — оно есть приглашение к дружбе. Эта особенность была отмечена в «Федре» Платона, который одним из первых понял синергетическую природу лица: оно напоминает и влечет к божественному личностным резонансом и желанием единства. Лицо — это обещание дружбы и счастья. Платон описывает красавца как отражение объективной красоты-идеи, а восприятие красивого тела как воспоминание о ее созерцании в те времена, когда наша душа пребывала в мире идей. Таким образом, красивое человеческое тело светится неземным светом. Платон писал: «когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь... Из всех видов неистовства этот — наилучший... Причастный к такому неистовству любитель прекрасного называется влюбленным»¹.

Платон выстраивает свою теорию красоты на основе метафизики истины как несокрытого. Когда душа еще не наделена своим домиком-улиткой, т. е. телесной оболочкой, которую Платон называет еще надгробием, она пребывает чистой и непорочной в божественном мире истин. Благодаря более сильной памяти у некоторых людей остаются воспоминания о сияющей ярким светом красоте божественного мира идей, и возникает сильная тоска. Смертные, наделенные телесной оболочкой, воспринимают мир только благодаря зрению, которому недоступен чистый разум. Только красоте выпало на долю быть зримой и привлекательной. Но земная красота — это не красота сама по себе. Первая возбуждает низменное желание. Только возвышенный человек, посвященный в таинства, способен испытать священный трепет от созерцания божественного лица.

¹ Платон. Федр // Платон. Соч. в 3-х т. Т. 2. С. 185.

Описание этого возвышенного чувства Платон дает в терминах теплоты: «Глядя на красоту юноши, она (душа) принимает в себя влекущиеся и истекающие оттуда частицы — недаром это называют влечением: впитывая их, она согревается, избавляется от муки и радуется»¹. Итак, два лица объединяются светом и теплом. Один посылает сияние красоты, другой согревается ее лучами. Этот взаимный обмен энергиями и создает интимную сферу существования. Нельзя согласиться с метафизикой человеческого облика Платона только в том, что красота выводится из сверхчеловеческого мира. Наоборот, как показал Ж. Делез в своей книге о Спинозе, открытие лица выражает силу, которую в нем обретает трансцендентная идея.

Когда лицо обретает индивидуальность, оно строится уже не как приглашение к дружбе, а как воля к власти. Может быть, только лица Будды и улыбающихся ангелов сохраняют верность дружбе и не изображают значительности. К таким излучающим дружеский свет лицам относится и Мона Лиза.

Христианство дополнило метафизику Эроса как влечение к сияющей истине-красоте метафизикой плотского касания. Истечение духа передается не только созерцанием, но и путем касания, объятия и поцелуя. Это существенно расширяет возможности наслаждения членов идеальной коммуны — церкви как единства верящих и любящих. Наиболее ярким воплощением этой новой чувственности остается фреска Джотто «Встреча Иоахима и Св. Анны»: два слившихся в поцелуе лица образуют одно целое. Совсем иначе построена картина Джотто «Предательство Иуды». На ней Иисус Христос изображен как красивый породистый человек, явно принадлежащий к благородному сословию. Перед нами настоящий европеец с прямыми чертами лица, высоким лбом, пепельными густыми волосами и бородой. Наоборот, Иуда олицетворяет то, что в расовых теориях будет названо «семитским типом»: низкий лоб, глубоко посаженные глаза, густые темные волосы и кривой нос. Он выглядит ниже ростом, ибо изображен слегка согнутым, что также символизирует его нечистые намерения. Трагизм ситуации Джотто передает тем, что поцелуй Иуды остается как бы нереализованным. Христианское тело избавлено от позора, оно осталось неоскверненным, так как целующиеся не соприкасаются губами. Зная о предательстве, Христос держится достойно и без страха честно и прямо смотрит в глаза Иуды. Последний изображен в несколько сомнамбулическом

¹ Платон. Федр // Платон. Соч. в 3-х т. Т. 2. С. 187.

состоянии. Он как будто в трансе. Глаза его тоже открыты, но они не видят Иисуса, а погружены внутрь себя. Различие, несовместимость и вместе с тем параллельность их существования Джотто выразил тем, что сцена поцелуя изображена без соприкосновения губ. Пустота между лицами и есть черта, которая их разделяет и различает.

В связи со сказанным возникает общая проблема, можно ли говорить об антропогенезе лица или оно является продуктом культуры. С одной стороны, данные физической антропологии свидетельствуют о том, что наше тело сформировалось на ранней стадии эволюции и мы мало чем отличаемся от кроманьонцев. В этой связи возникает вопрос о том, для чего природа создала лицо. Как продукт эволюции оно формировалось в результате полового отбора, и с позиций биоэстетики, поскольку красивое лицо способствовало привлечению партнера, то эволюция способствовала росту его привлекательности. На самом деле не стоит преувеличивать роль полового отбора при формировании красивого лица. Судя по изображениям женщин в форме «каменных баб», первобытные люди изображали в гипертрофированном виде в основном детородные органы.

С другой стороны, на ранних стадиях культуры и даже в античной Греции и Риме мы не встречаем портрета в собственном смысле этого слова. Не является портретом и икона. Только европейская живопись XV–XVI вв. начинает изображать человеческое лицо в его уникальности. Такая установка, конечно, радикально противоречит платоновской метафизике лица, согласно которой красивое лицо отражает красоту как идею. Но и она выглядела в античной культуре достаточно радикальной новацией, о чем свидетельствует полемика Сократа с мужчинами, которые в основном ценили плотскую красоту. Но если допустить, что платоновская эстетика лица была реализована в иконописи, то придется признать, что она вовсе не способствовала восприятию индивидуального лица. Ортодоксальный священник о. Павел Флоренский в своей работе «Иконостас» раскрывает красоту иконописного изображения Христа как отражение божественной красоты. Он же резко протестует против превращения изображений Его и Богородицы в портреты частных лиц. Действительно, уже в религиозной живописи итальянского Возрождения Мадонна все чаще изображается как молодая мать, кормящая грудью здорового младенца. Сам этот взрыв культа Богородицы и изображение ее как частного лица в повседневной жизни требует серьезного осмысления.

Хотя лицо сравнительно недавнее открытие европейской культуры, оно должно стать предметом антропологии, ибо является продуктом антропогенеза. Первобытная культура открывает женское

тело и прежде всего подчеркивает способность воспроизведения рода. В эпоху матриархата складывается культ женских богинь, скульптурные изображения которых выпячивают могучие бедра и грудь, а также выделяют гениталии. При этом от великих богинь исходит какая-то мрачная сила. Их эротика не обещает наслаждений, она скорее намекает на жертву.

Боги египтян наделены головами животных, что также свидетельствует о культе тела, с одной стороны, и о культе власти — с другой. Греческие боги более демократичны и напаминают людей. На фронтоне Парфенона люди и боги, кони и кентавры образуют союз равно совершенных существ. Хотя боги и люди изображаются с головами, искусство греков еще не знает человеческого лица. Гордые и красивые обнаженные тела символизируют власть полиса. Воины и ремесленники как персонажи греческого искусства одинаково выступают носителями государственных добродетелей. Это особенно усиливается в эпоху Римской империи. Изображаемые на монетах профили императоров являются политическими символами Рима. Особенно интересны двойные профили. Они, конечно, выражают не дружбу, а политическую преемственность богов и императоров и их наследников. Именно здесь складывается символ троицы. Третье лицо — это окружность монеты, объединяющая бога-императора и его преемника.

Изображения Будды удивляют каким-то внутренним светом. Они не излучают вонне светоносную божественную энергию. Лицо Будды самодостаточно, его глаза как бы закрыты, они повернуты внутрь, что и символизирует нирвану.

Иконы — это тоже не изображение человеческих лиц. Они, конечно, не сравнимы с масками древних или с профилями императоров. Глаза Христа широко раскрыты и смотрят прямо на зрителя. Но его лицо не индивидуально, в нем нет человеческого участия и сострадания. Изображенный под куполом православного храма Бог-Пантократор испепеляет всевидящим оком молящихся на коленях верующих; льющаяся сверху световая энергия не знает преград и не дает никому пощады. Эманация света дополняется голосом, который, резонируя, тоже льется как бы из-под купола сверху вниз. Страх Божий — вот что должна вызвать икона. Это не изображение и тем более не фотография. Даже если художник сознательно или бессознательно писал чье-то знакомое лицо, то все равно это не было портретом. Точно так же, чье бы лицо ни отразилось на Плащанице — это не снимок.

Нельзя отрицать, что икона имеет государственное значение. Лицо Христа — прежде всего лицо мужчины-европейца, на котором также присутствует этническая маска, что проявляется в местных особенностях той или иной иконописной школы. Дело не только в различной технике живописи, но и в культивировании собственного особого облика человека. Здесь чувствуется преемственность с имперской техникой власти, симулирующей себя в профилях императоров на монетах. Чудодейственная икона как непосредственный представитель самого Бога, его родной, близкий, знакомый облик — взгляд главы семьи, царя — все это слито вместе и одно поддерживает другое. Кроме того, как утверждают представители биоэстетики и психоанализа, изображения, часто рассматриваемые беременными женщинами, как бы программируют облик ребенка.

Удивительно, что в эпоху развития науки особенности лица-маски культивировались в рамках хотя и маргинального, но все же квазинаучного дискурса. Речь идет о физиогномике Лаватера и Гаруса. Они достаточно четко понимают свою задачу и предлагают своеобразную семиотику лица, которая распознает и расшифровывает любую из социально значимых способностей человека по чертам его лица. Форма носа, ушей, разрез глаз, высота лба и даже сетка морщин — все рассматривается как симптомы тех или иных внутренних желаний, способностей, склонностей. Характерология человека строится с учетом социального контекста. Поэтому прежде всего определяются интеллектуальные, моральные, социальные качества человека, насколько он честен, надежен и ответствен.

Клиповое лицо

Наше лицо сегодня под угрозой. И древние иногда носили маску, но сегодняшняя хирургия красоты не знает жалости. Мы стремительно теряем свое лицо. Славянки выпрямляют курносые носы, а грузинки осветляют волосы. Фотомодели определяют критерии красивого и некрасивого, своего и чужого. В результате лица пожилых людей, изборожденные морщинами, кажутся студентам ужасно уродливыми. И наоборот, лица молодых людей кажутся преподавателям какими-то незаконченными.

Ужасное влияние рекламы проявляется в том, что она делает клиповое лицо. Это образ с небольшим разрешением, который не выдерживает пристального и длительного восприятия. Такие лица

должны мелькать, и их носители привлекательны, если дополняются другими, фланирующими индивидами. Клиповое лицо становится не живым, а «резиновым» или «кукольным» при близком взаимодействии. Рядом с таким лицом невозможно находиться долгое время. Оно ввергает в скуку. Поэтому молодежи все время хочется разнообразия. Их лица не уникальны и не открывают ничего нового. Реклама и мода на самом деле навязывают какое-то коллективное лицо. Видимое разнообразие рас, этносов, культурно-исторических типов на самом деле оказывается китчем.

Лицевая операция, проделанная над Майклом Джексонном, раскрывает ту стратегию, которая характерна для нашей культуры, беспощадно искореняющей следы жизни и характера с человеческого лица. Эстетическая хирургия — это типичное проявление современного цивилизационного процесса, вовлекающего все народы в борьбу за комфорт. Мы все теряем лицо, сформированное нашими предками в процессе совместной жизни, получая взамен маску, которая привлекает лишь на короткое мгновение, а при ближайшем рассмотрении оказывается грубой и неинтересной. Лица фотомоделей — это стереотипы комиксов. Мы соглашаемся на лицевую операцию потому, что больше не любим и не гордимся лицами своих предков, которые кажутся нам грубыми и неотесанными.

Эстетическое протезирование лица направлено не против негров или китайцев, а против всего того, что в жизни выглядит как естественное. Лицо родового человека формировалось как приглашение к дружбе, и в этом заложен большой смысл: улыбающееся лицо воспринималось как приглашение к сотрудничеству. Эстетическая хирургия способствует росту разукорененности, безродности и бездомности, которые являются опасными последствиями глобализации. Человек без лица по-особенному опасен и враждебен к чужому. Утрата лица — это утрата идентичности. Каждый человек, каждая группа, народ должны, чтобы не потерять себя и не раствориться в других, любить, восхвалять и гордиться как своим внешним видом, так и культурой и обычаями.

Отношение к чужому у каждого народа обретало свои особенности, определяемые историческими событиями. Но всякий народ воспроизводит себя также на уровне языка и культуры и формирует у каждого нового поколения своеобразные предпочтения и желания, включая эстетические, кулинарные, эротические и т. п. вкусы. Все наши желания в какой-то мере являются искусственными, однако от них не так-то просто избавиться. Проблема утраты и сохранения идентичности по-настоящему может быть осмыслена на уровне не

столько идеологии, сколько психологии и даже физиологии людей. Идентичность — это психосоматическое состояние и включает в себя не только знание о том, кто я, но и чувства уверенности, гордости и уважения к себе. Тот, кто не любит или потерял себя, равнодушен и даже агрессивен к другим. Люди, не имеющие дома, забывшие свой род, его песни и язык, интенсивно дегенерируют в процессе глобализации: их квартиры комфортабельны, но в них нет человеческого тепла, их музыка и визуальное искусство сладострастны, но не служат высокому и не призывают к героическому подвигу. Они, напротив, уводят в глубины собственной души, откуда уже не возвращаются. Каждый замыкается в себе и предается разрушительной саморефлексии на тему о своей сущности. Такие люди и составляют благодатную почву для национал-социализма, идеологи которого интенсифицируют стресс чужого.

Тот, кто не потерял себя, а, наоборот, гордится как своей культурой, так и породой, не боится чужого. Наши предки культивировали то, чем они отличались от других, но не боялись, а уважали их. В какой-то мере стресс чужого нейтрализовался законами гостеприимства, и это была достаточно эффективная стратегия признания Другого. Тот, с кем ты делил свой хлеб, не может предать тебя — таков самый древний этический постулат, который сохраняется и в Евангелии. Гостеприимство — форма близкого и сильного взаимодействия людей, включающего бытие лицом к лицу, а также обмен взглядами и прикосновениями. Совместная еда сближает людей даже сильнее, чем разговор. Недаром такие значительные теории любви, как учение об эросе Платона и заповедь Христа о любви к ближнему, были сформулированы не за письменным столом, а во время совместной трапезы.

Совместная еда как форма близости

Совместная еда сближает людей надежнее, чем разговор. Впрочем, значительный разговор часто подкрепляется чашей вина или, как в России, бутылкой водки. Это превращает его в разновидность договора, который, по древнему обычаю, также сопровождается возлиянием, называемым у нас в древности «литками». Таким образом, совместная еда отсылает к жертвоприношениям и даже к каннибализму. Но на самом деле пиры не только сближают, но и разъединяют. По свидетельству историков, пиры в Месопотамии протекали в исключительно торжественной тишине. Помимо решения вопроса о месте за столом вторая задача — кому из участников пира полагаются

те или иные части пиршественного животного¹. В условиях нехватки продуктов социальная иерархия поддерживалась неукоснительным порядком употребления пищи. Выбор пищи был обусловлен выбором себя. По сравнению с древними пирами, имевшими исключительно символический характер, греческие застолья становятся формой частной жизни и нацелены на получение удовольствия. Но люди собирались вместе за пиршественным столом не ради еды и питья, они всегда преследовали нечто высшее, и поэтому хлеб и вино всегда имели некий метафизический привкус.

Беседы античных мудрецов и разговоры Христа со своими учениками протекали вовсе не в лекционных залах, и не только потому, что еще не было создано специальных мест для лекций и проповедей. На самом деле школы и храмы уже существовали, но как Сократ философствовал на улицах, так и Христос предпочитал амвону паперти или частные собрания людей. И это не случайно, ибо официальные места для образования и наставления выполняют весьма серьезные, кажущиеся мыслителю побочными, функции, которые, пожалуй, перекрывают значение слов и понятий, отсылающих к истине.

Итак, встает вопрос о месте разговора, о месте истины. Почему доверительная беседа протекает за едой и, более того, сопровождается распитием спиртных напитков, музыкой и даже танцами? Иногда думают, что такого рода застольные беседы имеют исключительно развлекательный характер. Но не обстоит ли дело совершенно наоборот: может быть, разговор радикально воздействует на последующее поведение участвующих в нем людей именно за счет того, что он подкреплен такого рода формами близкого взаимодействия? Истина — это то, что объединяет, то, что собирает людей вокруг себя. Такими центрами издавна были свет, тепло и еда. Люди собирались вокруг огня, ели, пили и пели. Так под куполом неба, под сводом пещеры или под крышей дома создавалась особая микросфера, образуемая не только светом и теплом, но также звуками и запахами.

Только современная эпоха радикально деструктивна в отношении остатков этих форм близкого взаимодействия. Когда из обжитого ограниченного космоса, построенного по образцу «ойкоса», люди оказались выброшенными в бесконечную Вселенную, то уже сами ученые (Паскаль) испытали настоящий ужас оттого, что оказались беззащитными и слабыми, как былинка в поле. Укрытость и защищенность — важнейшие потребности человека. Но где

¹ Ключков И. С. Пирры в искусстве и литературе Месопотамии // Одиссей. М., 1991.

проходит граница между своим и чужим? Боюсь, что сегодня она вплотную придвинулась к человеку настолько, что его ближайший сосед — человек, живущий и даже сидящий с ним рядом, — совершенно безразличен и даже враждебен. Есть основания думать, что она вообще уже протекает внутри нас, ибо враждебный нам Другой обитает именно там.

В связи с отсутствием телесной близости, сострадания (так христианство культивировало мир близкого взаимодействия), симпатии (так Новое время пыталось преодолеть разобщенность людей) возникает актуальная задача деструкции новоевропейской метафизики, которая отбросила накопленные культурой традиционные формы связи. Начиная с Декарта она предпринимала интенсивные попытки заменить этнические, национальные, государственные и иные коллективные формы солидарности индивидуальным познанием истины. Сегодня заговорили о «смерти метафизики», и это симптом не только ее кризиса, но и рождения нового спасителя, объевающего мир людей. Им сегодня становится мир массмедиа, возрождающих магнетопатию общения на основе аудиовизуальных знаков.

Человеческий организм — это на самом деле сложный сосуд, точнее, система соединенных между собою емкостей. Сложная алхимическая лаборатория нашего тела вступает в дело еще до того, как еда попала в рот. Утверждение «Я — это мой живот» кажется столь же бесспорным, как и убеждение интеллектуала «Я — это мой разум». Можно спорить о том, что первично, но прежде хотелось бы оспорить саму приватизацию, которая на самом деле случилась сравнительно недавно. Наши предки не только сообща добывали и ели пищу, но и формировали свои мысли как коллективные представления. Ни первое, ни второе не было результатом индивидуальной деятельности, а производилось и потреблялось совместно. Конечно, и сегодня люди редко едят в одиночку, а то, что они едят, также оказывается продуктом широкой кооперации. Точно так же не только наши вкусы, но и мысли вовсе не принадлежат нам, и даже когда они приходят нам в голову и содержатся только там, даже не будучи озвученными или опубликованными, механизмы их зарождения включают в себя установленные в процессе образования фильтры, отбрасывающие проникновение индивидуального.

Разумеется, голова и желудок устроены у каждого немного по-разному и, вероятно, каждый по-своему ощущает вкус кофе, однако попытка описать то особенное, что испытал мой желудок, когда сегодня я выпил кофе, показавшийся мне необычным, обречена на неудачу. При всей разнице наших органов мы потребляем примерно

одинаковую пищу, подвергаемся воздействию стандартного набора лекарств, мы смотрим одинаковые телепередачи, читаем одни и те же газеты и книги и тем не менее считаем себя автономными индивидами, добившимися значительной степени эмансипации. И наоборот, наши предки, включенные в сравнительно небольшие объединения, не ощущали себя индивидуалистами. Более того, активно утверждая ценности и обычаи (от пищи и одежды до песен и мыслей) своего сообщества, активно культивируя и демонстрируя свое отличие от жителей соседней деревни, тем не менее умудрялись быть активными защитниками государства. Стало быть, дело было не в широте охвата социальных и экономических коопераций. Несмотря на очевидную слабость социальных связей людей в ранних государственных образованиях, существовали более сильные и близкие взаимодействия, определявшие единство древних коллективов. Дело не в том, что мы едим пищу, в приготовлении которой участвует все большее число людей, а в неких ритуалах, сопровождающих ее принятие.

В отличие от животного человек воспринимал пищу как нечто священное. Конечно, и раньше были и теперь есть люди, которые просто едят, а не священнодействуют, но то, как едят современные гурманы или любители пищевых церемоний и званых обедов, существенно отличается от дружеской или священной трапезы, как она протекала в прошлом. Совместное принятие пищи было основой родственности и дружественности. Даже Христос говорит словами псалма: «Тот, с кем я делил свой хлеб, поднял на меня пяту свою», и это для него, завещавшего возлюбить врагов, является высшим выражением предательства. Итак, дружба и предательство — основные «экзистенциалы» человеческого бытия — выражаются не как намерения, а как телесные практики, в числе которых — совместная еда. Что особенного размышлениям придает совместная еда и питье? Если обратиться к «Пиру» Платона и Тайной вечери, как она описана в Евангелии от Иоанна, то можно заметить, что две самые значительные теории любви, оказавшие наиболее сильное влияние на развитие европейской культуры, также разрабатываются не в аудитории, а в процессе совместной трапезы, включающей употребление вина.

Еда — это не только принятие пищи, т. е. превращение внешнего во внутреннее, самый интимный процесс, соучастник которого — со-трапезник — становится самым близким другом. Это и определенным образом организованное место, которое характеризуется близкой и сильной взаимосвязью, осуществляющейся в соответствующей атмосфере, включающей образы, звуки, запахи и вкусы. Интеллектуальный историк мог бы возразить: какое значение имеет для мысли

место ее порождения и озвучивания? Но, может быть, не только голова, но и другие органы, не только индивид, уединившийся в кабинете, но и коллектив, а главное — время, место, атмосфера собрания играют продуктивную роль для производства мыслей.

Свойства пищи неверно рассматривать как исключительно биологические и тем самым культурно нейтральные. На самом деле восприятие того или иного качества пищи осуществляется на фоне культурных верований и нагружено сложными символическими представлениями. Пищевые предпочтения, формируемые и навязываемые культурой, играют важную организующую роль в социализации детей. В соблюдении различий сырого и вареного, соленого и сладкого, мясного и постного субъект реализует культурную идентичность и отделяет себя от чужих. Это происходит на уровне габитуса — культурных стереотипов, инкорпорированных в тело и осуществляющихся на бессознательном уровне в форме привычек, предпочтений, вкусов, норм поведения и т. п.

Примером культурной кодированности пищи является различие сырого и вареного. В эпоху неолита при переходе от собирательства к земледелию, от кочевничества к оседлости люди стали отдавать приоритет приготовленной пище, так как она свидетельствовала о наличии культуры. Одновременно таким способом достигалось и окультуривание людей. Критерии допустимой или недопустимой пищи включены в процесс идентичности и имеют гендерный, классовый, религиозный характер. На заре человеческого общества главное различие проходило по линии «природное — культурное». «Свои» в отличие от чужих, прежде всего от животных, питаются приготовленной пищей. Отсюда в эпоху неолита дикорастущая, собранная для пропитания пища уступает место приготовленной, «вареное» имеет более высокий культурный статус, чем «сырое». Точно так же пища дифференцируется не столько в зависимости от вкусов субъекта, сколько от социального статуса едока. На первый взгляд кажется противоречивым откладывать лучшую пищу для гостя, а самому питаться остатками. Но неверно думать, будто это — обусловленная социальным неравенством форма перераспределения. Охотник, добывший хорошую пищу, не может съесть ее сам, ибо она предназначена либо для пира с соплеменниками, либо для сакрального потребления. На самом деле такая пища является даром, который, в принципе, не может быть отвергнут. Если гость гнушается принять подношение, то он оскорбляет хозяина. Разделить трапезу, принять дар — это весьма близкая форма взаимосвязи, предполагающая высокую ответственность как дающего, так и берущего.

Дж. Фрэзер истолковал пищевые табу и запреты как корреляты социальных категорий, коды социальных различий и иерархий. При этом важно подчеркнуть, что питание при этом не превращалось в нечто исключительно символическое, в некий язык или знаковую систему, демонстрирующую место человека в мире. Оно направлено на формирование определенного типа телесности, который подобает мужчине или женщине, ребенку или взрослому, воину или священнику. При этом речь идет не о жесткой системе норм, а о правилах питания в разных ситуациях, например, при выполнении разных видов работы. К. Леви-Строс интерпретировал пищевые табу как некую вторичную означающую систему, символическую надстройку для идентификации социальных ролей людей. Неприятие пищи часто диктуется не медицинской, а культурной «вредностью». Не реальный, а символический вред — вот что заставляет нас отторгать ту или иную пищу в качестве «нечистой». Номады-скотоводы отвергают свинину потому, что она не является мясом вольнопасущихся животных. Решение вопроса о том, можно или нет, вредно или полезно съедать ту или иную пищу, определялось в древности не соображениями относительно меры голода и калорийности продукта, а сложной процедурой идентификации: кто ты есть, здесь и сейчас вкушающий эту еду? Таким образом, трапеза выступала в древности в роли особого языка обозначения социальных габитусов и одновременно как дисциплина и самодисциплина, направленная на сохранение своего статуса и улучшение себя как исполнителя той или иной социальной роли. Это обстоятельство показывает, что так называемый пищевой этикет как форма сдержанности и самоконтроля не являлся продуктом придворного общества, от которого Н. Элиас начинает отсчет времени цивилизации, а гораздо более ранним изобретением людей.

Страх голода древнее и могущественное чувство. Тот, кто его преодолевает, становится защитником и спасителем людей. Не удивительно, что пища издавна служила важнейшим элементом политики. Но если раньше она помимо физиологической функции выполняла важную связующую роль, то теперь она превратилась в рычаг развития экономики. Если раньше граница «вкусного» и «невкусного» определялась различием своего и чужого, то теперь — критериями экономической целесообразности. На упаковках обозначены состав и калорийность еды, которая должна потребляться в зависимости от затрат энергии. Вместе с тем экономика развитых стран культивирует потребление, и поэтому рекламируются либо не содержащие лишних калорий продукты, либо средства, обеспечива-

ющие их безопасное и быстрое усвоение. При этом реклама пищи имеет скрытый политический подтекст. В России (хотя все говорят о защите отечественного производителя) она нацелена на разрушение сложившихся естественным путем различий вкусного и невкусного и внедрение новых вкусов, приемлющих продукты, изготовленные по западным технологиям.

Слух и зрение

Яхве и Адам, мать и эмбрион (а таковым ребенок является еще целый год и после своего рождения) находятся в самой тесной коммуникации без того, чтобы произносить длинные убеждающие речи. В телепатии нет ничего необычного: каждый из нас легко угадывает настроение близкого человека. Чистые звуки гонга, мелодический голос, родное лицо оказывают магнетопатическое воздействие на человека. И поскольку книжная культура, в рамках которой мы сформировались, постепенно уходит в прошлое, а на место вербального вновь приходят аудиовизуальные медиумы, возникает вопрос о том, как мы ориентируемся в звуках и образах.

Поскольку в нашей культуре язык чаще исследуется в качестве текста, а не речи, постольку следует обратить внимание на способности человека не только читать, но и слушать. Слух, способность слышать — это связь и даже зависимость от другого человека. В отличие от него зрение более индивидуально. Голос и слух обслуживают межчеловеческие взаимодействия. Говоря философски, слух — это больше этическая, чем гносеологическая способность. В европейской традиции ухо не исследуется как теоретический орган. Со времен греков теория — это видение, усмотрение сути дела, а знание — его идея или образ. Можно сделать вывод, что ухо — это орган лингвистический или прагматический и коммуникативный, а глаз — семантический, или когнитивный. Понятие слуха чаще используется в практической и политической философии. Недаром послушность считается важнейшим качеством человека. Практический разум откликается на призыв ценностей и веление долга. Теоретический разум, наоборот, никого не слушает, а опирается на видение и понимание. Среди главных гносеологических терминов доминируют те, которые описывают работу глаза и руки: усмотрение, схватывание, постижение, усвоение и т. п. Выявив такую тенденцию, можно спросить: а не играет ли и ухо эпистемологическую роль?

Например, у Гердера ухо рассматривается в семантическом и когнитивном изменении. Язык понимается как игра звучащего мира

и слушающего человека. При этом речь идет о способности слышать не только другого человека, но и мир, природу и самого себя. Глаз и рука утрачивают при этом эпистемологический приоритет. Гердер рисует поэтическую идиллию, в которой человек сравнивается с кроткой овечкой, агнцем божьим. Отоцентрическая концепция языка и познания вновь стала популярной в наше время. Уже А. Гелен опирался в разработке своей антропологии на идеи Гердера. Точно так же Хайдеггер считал слух важнейшим условием языка. В философских обобщениях всегда что-то не так: греческая культура считается визуальной, ибо теория понимается как усмотрение, а между тем роль голоса была столь велика, что на агоре побеждал тот, кто красиво и убедительно говорил. То же самое противоречие имеется в общих оценках римской культуры: с одной стороны, она опирается на риторiku, а с другой — на бестиализирующие зрелища. И в дальнейшем можно найти множество фактов, подтверждающих утверждения как о фоно-, так и о фотоцентризме европейской культуры. Ситуация становится более однозначной, если учесть, что в теории, например, греки опирались на зрение, а римляне — на слух, и наоборот обстояло дело в политике: греки слушали слова, а римляне поклонялись символам величия Рима и наслаждались зрелищами. Можно ли утверждать, что в современной культуре, где господствуют аудиовизуальные технологии, основным органом гуманизации снова становится ухо, а не глаз, слух, а не зрение?

В основании языковой игры лежит структура организма, которая сложилась в процессе манипулирования предметами. Чувство очевидности происходящего складывается при участии всех органов чувств. При этом считается, что чувства слуха и вкуса в ходе взаимодействия человека с миром играют не самую значительную роль. В частности, ухо как неподвижный орган недостаточно годится для активного освоения вещей. Остаются глаз и рука. Именно рука является наиболее эффективным органом для освоения предметного мира. Для лучшего понимания последствий визуализации дискурса необходимо обратить внимание на связь глаза и руки. Не только слепые подтверждают связь этих органов. Основные понятия теории познания на немецком языке недвусмысленно раскрывают эту связь. *Begriff*, *greifen* означают одновременно операцию взгляда и действие руки. Глаз оказывается слепым без хватательного движения руки. Таким образом, основанием языка является рука. Где рука, там не только глаз, но и рот, куда складывают то, что берет рука. Освоить — значит съесть. Так мы приходим к языку и слову, венчающему лингвистический поворот. Поскольку словом

сопровождается прежде всего хватание, нет ничего удивительного в совпадении словаря описания работы руки, взгляда и познания. Слово *опома* первоначально было названием челнока — инструмента ткача (*Кратил*). И в дальнейшем метафора ткани остается ведущей для описания языка (текст). Так, Платон описывает диалектику как искусство разделять и складывать по родам по аналогии с действиями руки ткача.

В Британии, стране гольфа и бриджа, для описания языка Л. Витгенштейн использовал метафору игры, которая также есть не что иное, как операция руки. Но рука трактуется уже как орган игры, а не труда. Однако обе эти теории оставляют в тени то обстоятельство, что язык — это орган рта, или, как более возвышенно выразался Розеншток-Хюсси, плод уст. Это не исключает, конечно, того, что рука играет важную роль, однако нельзя забывать и о телесном субстрате уст и уха.

Гироцентрическая теория не объясняет, как слово проистекает из понятия. Аналогия работы руки и органов по производству звуков мало что дает. Первым автором гироцентрической концепции происхождения языка был А. Леруа-Гуран. Он считал важнейшими условиями становления человека, во-первых, развитие руки, которая является не только органом движения и хватания, но и производства; во-вторых, развитие лица. Как известно, уменьшение челюсти наряду с церебрализацией является главным фактором формирования человеческого лица. Пасть превращается в рот, морда — в лицо. Как рука из хватательного органа становится манипулирующим, так и рот оказывается органом артикуляции звуков. Поскольку оба процесса протекают параллельно, можно считать, что это один и тот же процесс. Таким образом, производство орудий и развитие языка связаны неразрывно и к тому же неотделимы от социальной структуры.

Леруа-Гуран отмечал, что производство орудий и символов связано у человека с развитием мозга. Конечно, неверно отождествлять язык и орудийную деятельность. Соседство хватательных способностей руки и артикуляции звуков базируется не только на неврологической связи руки и лица, но и на структурном параллелизме. Ощупывание предметов и произнесение звуков имеют сходную структуру активного действия. Звук речи движется к уху слушателя, он трансформируется в ощущение, и наоборот. Когда говорят «схватывает на лету», то имеют в виду способность воспринимать слова. Чтобы адекватно понять роль уха в освоении

мира человеком, важно учитывать, что и этот орган развивался параллельно развитию руки и лица. Нельзя согласиться с тем, что ухо как пассивный орган неприспособлено для активного освоения мира. На самом деле изолировать ухо от слуха, который основан на схватывании звуков, это то же самое, что отделять кожу, как орган рецепции, от активности руки.

Можно указать следующие характеристики слуха.

- Прежде всего слух — орган хотя и рефлексивный, однако оказывающий определенное действие на уста, производящие звук, который должен быть слышим.
- Младенец, познающий свое тело путем прикосновения, первоначально воспринимает внешний мир благодаря слуху. Звуки становятся для него важнейшей частью мира.
- Отсюда первоначальными средствами воздействия на мир оказываются звуки; человек обретает власть посредством голоса.
- Поскольку внешний мир первоначально воспринимается не тактильно, а акустически, то голос другого столь же необходим, как и питание.
- Важное значение собственного голоса состоит в том, что его тон, звучащий вовне, воспринимается как свой внутренний голос. Я звучу таким, какой я есть.

ВОСПРИЯТИЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

Здоровье и болезнь

Существует целый ряд фундаментальных понятий и представлений, которые характеризуют метрику повседневной жизни, однако они еще мало интересуют современную философию, ориентированную прежде всего на культурно рафинированные формы символизации бытия. Философская рефлексия обслуживает научно-техническую и социально-политическую практику, способствует преодолению устаревших стереотипов сознания и стимулирует усилия ответственности, направленные на эмансипацию. Вместе с тем давно замечено, что философия обходит стороной, может быть, самые важные темы человеческой жизни и даже считает смыслобуживающие проблемы неправильно сформулированными, бессмысленными и потому неразрешимыми. Сегодня философы как бы махнули